

Виктор Тростников

РОССИЯ

земная и
небесная

*самое
длинное
десятилетие*

Г Р И Ф О Н

Виктор Николаевич Тростников

Россия земная и небесная.

Самое длинное десятилетие

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=12055454

Россия земная и небесная. Самое длинное десятилетие./ В.Н. Тростников – М.: Грифон, 2007. – 296 с.: Грифон; Москва; 2007

ISBN 5-98862-026-4

Аннотация

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности. Это делает во многом пророческую книгу В.Н. Тростникова «Россия земная и небесная» бесценным даром для нескольких поколений относительно молодых людей, не обладающих личным опытом значительного прошлого – как в науке, так и в

духовном прозрении, которое приходит к человеку, увы, не всегда в молодости, а с течением лет. Вопросы духовной, религиозной зрелости – тоже стали важным элементом книги. Главный принцип, который постулирует автор: быть русским – значит глубоко чувствовать духовные ценности русской культуры, неразрывно связанные с Православием, а национальное происхождение, этническая принадлежность здесь ни при чем. Книга «Россия земная и небесная», выходящая впервые, возможно, станет источником многих открытий для читателя. Книга издается в авторской редакции.

Содержание

От издателя	5
Предисловие	8
Раздел первый	11
Его слабость заключается в его силе	11
А у нас был Высоцкий	26
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Виктор Николаевич

Тростников

Россия земная и небесная.

Самое длинное десятилетие

От издателя

Это не совсем обычная книга, составленная из трудов разных лет знаменитого отечественного ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова, и она вовсе не нуждается бы в отдельном представлении, если бы не одна особенность: автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах бытовой жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности. Поэтому пусть читатель не удивляется необычному сопоставлению сталинских времен с брежневскими, «перестройки» с «новым капитализмом», законов физики и социальных реалий. Мир предстает

перед нами необычайно разноликим – и в то же время крайне увлекательным. Это делает во многом пророческую книгу Тростникова бесценным даром для нескольких поколений относительно молодых людей, не обладающих личным опытом значительного прошлого – как в науке, так и в духовном прозрении, которое приходит к человеку, увы, не всегда в молодости, а с течением лет.

Вопросы духовной, религиозной зрелости тоже стали важным элементом книги, это видно в особенности в третьей части, где рассматривается внутренняя интеллектуальная мощь Православия в сочетании с личным познанием.

Важно, что автор, не навязывая своих оценок, твердо стоит на позициях глубинной русской мыслительной традиции, которая не связана собственно с этническими особенностями личности, а целиком относится именно к области чистого Духа. Физику-теоретику по образованию такие формулировки, конечно, позволительны, тем более что они отвечают на самые болезненные вопросы современного российского бытия. Вспоминается в связи с этим знаменитая формула философа Н. Бердяева о необходимости различения «России небесной и России земной», ведь именно «небесную», идеальную в своем представлении Россию мы и можем любить, чтобы вывести на путь приближения к ней далеко не всегда приглядную «Россию земную», с которой приходится сталкиваться в бытовой жизни.

Важным представляется принцип, который исподволь, а

иногда и открыто постулирует автор: быть русским – значит глубоко чувствовать духовные ценности русской культуры, неразрывно связанные с Православием, а национальные корни, этническая принадлежность здесь ни при чем. Это напрямую отсылает нас к тезису, изложенному еще апостолом Павлом, где для Христа-Спасителя «нет ни эллина, ни иудея», а важна лишь убежденность человека в Истинной Вере.

А начинается-то все с «развлекательной» жизненной прозы – множество интересных зарисовок и тонких наблюдений о жизни, о людях, окружавших автора, и о стране, которая эволюционировала параллельно с ним. Гениальные ученые, безвременно ушедшие поэты, мудрые священники, проницательные женщины... И только к середине книги начинаешь чувствовать громадность замысла, разносторонний и беспощадно откровенный анализ русской жизни, на который не всякий отважится.

Итак, перед вами, читатель, непростая литературная вещь, однако она пробуждает глубокое и сладостное стремление изучить и возлюбить духовную культуру России еще вдумчивее, с учетом многоликости вещного и интеллектуального мира.

Р. Огинский

Предисловие

До революции самым дорогим архитектором в России был Иван Владиславович Жолтовский. В начале двадцатого века он строил красивые особняки тогдашним «новым русским», и тем они очень нравились, так как Жолтовский лучше всех в мире знал секреты ампира – всякие там архитравы, антаблементы, триглифы, метопы и прочие пилястры. Но вот грянул Октябрь, пролетариату понадобился конструктивизм, и классическая пластика была выброшена на помойку, как и все буржуазное. Но в отличие от своих коллег – Щусева, Весниных, Лодовского и Мельникова – Жолтовский не стал менять свои убеждения и оказался безработным. Более десяти лет он жил продажей накопленного имущества и совсем обнищал. Но вот Сталин стал строить империю и, разумеется, тут же начался спрос на ампир. И тогда вспомнили о Жолтовском.

Рассказывали: к окошку кассы Моспроекта подходит старичок в галошах на босу ногу, подвязанных веревочкой. Кассирша, по внешнему виду решив, что это сторож, ищет фамилию в соответствующей ведомости и не находит. – Да как же это, – бормочет старичок, – мне звонили, чтобы я получил деньги.

Кассирша берет ведомость сантехников, но там его тоже нет. – Так кто же вы? – теряет она терпение. – Я главный

консультант проекта. – Кассирша находит его в отдельном наряде и говорит: – А вы взяли с собой чемодан? Тут вам целый миллион выписан...

Пересидел-таки, дождался.

Я тоже вроде бы пересидел угар демократии. При Ельцине мои патриотические писания никто и близко не подпускал к печати. Одна дама, издававшая журнал средней толщины, даже сказала: «Тростников будет напечатан у нас только через мой труп». Сегодня звонят, просят рукопись. Конечно, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, но, похоже, я правильно сделал, что не менял убеждений.

Читая статьи, отобранные для этой книжной публикации, я испытал сложные чувства. Иногда удивлялся: неужели я когда-то был такой умный? Иногда восклицал: ну, брат, здесь ты впал в крайности и заврался! И во втором случае рука тянулась к исправлениям, хоть баритональный редакторский голос мягко, но жестко отговаривал меня от правок. Подумав как следует, я решил, что не имею права ничего менять. Ведь большинство статей я писал не один, а с соавтором, и без его согласия не могу этого делать, а его уже нет. Этот соавтор – то самое пресловутое «ельцинское десятилетие», которое действительно было для нас самым длинным. Поэтому оставляю все как есть: пусть этот сборник, помимо всего прочего, будет и документом эпохи.

Тем, что сборник вышел в свет, я обязан многим людям.

Особенно хочу поблагодарить Галину Ивановну Поморцеву, оказавшую неоценимую помощь в предварительном редактировании текстов.

Раздел первый

Люди

Его слабость заключается в его силе

Когда мне позвонили из Ясной Поляны и предложили написать что-нибудь о Толстом для готовящегося журнала, это было для меня нечаянной радостью. Вряд ли даже звонок из Кремля стал бы для меня более приятным сюрпризом. К тому же выполнение этого заказа показалось мне в первый момент очень легким: ведь на протяжении почти всей моей жизни Лев Толстой был для меня главным писателем и лишь сравнительно недавно уступил эту роль другому автору. Но когда дошло до дела, я понял, что писать о нем мне очень трудно, и именно по той причине, что я переплелся со всем, в нем содержащимся, и теперь говорить о нем – значит говорить о себе, а это, помимо того что нескромно, малоинтересно для других.

Все-таки добавлю два слова о переплетении. Одно время я чувствовал Толстого своим «альтер эго» – я родился в том же году, только век спустя, и мой день рождения всего на пять дней позже; у меня то же отчество и фамилия начинается на ту же букву. И с самого детства я с ним: «Охота пу-

ще неволи», «Мильтон и Булька», «Лев и собачка» – вот что формировало мои представления о добре и зле в большей мере, чем остальные произведения, больше, чем даже звучный и легко запоминающийся «Мистер Твистер» или веющий потусторонним духом «Бежин луг». В первом – противопоставление плохого богача и хорошего «цветного народа» было слишком прямолинейным, а во втором удручали длиннейшие, слишком цветистые и совершенно ненужные для основного сюжета описания природы, которые приходилось просто пропускать. А главное – и там и там было ясно, что это сочинительство, пусть очень умелое, на котором можно учиться излагать свои мысли на бумаге, но именно *сочинительство*, а в «Мильтоне и Булке» было нечто другое – что именно, я тогда не понимал, но чувствовал какой-то особенный уровень повествования, много более высокий. Толстой воспринимался мною тогда как волшебник, складывающий слова так, как не может сложить их никто другой: будто они сами собой складываются, без участия сочинителя.

Это волшебство особенно сильно поразило меня в возрасте четырнадцати лет. Мы с мамой были эвакуированы в Среднюю Азию и жили в комнате общежития. Я переболел малярией и, не имея еще сил встать с постели, томился скукой. Внезапно я увидел на соседней койке книжицу: это был томик из «Войны и мира» издания Маркса, тот, где Андрей Болконский умирает в Мытищах. Я начал его читать, и со мной стало происходить нечто до тех пор не случавшееся.

До этого мне пришлось прочесть много интересных книжек, например, «Таинственный остров», сюжетом которого я долго был взволнован, но я вообразить не мог, что существует *такая* литература. Какая же? Такая, что, начиная ее читать, ты целиком погружаешься в некую родную и близкую тебе жизнь, гораздо более реальную, чем та, которая вершится вокруг тебя, и пока ты не закроешь последнюю страницу, тебе не надо ни есть, ни пить, ни спать, а только жить этой *настоящей* жизнью, спрессованной каким-то чудом в нескольких сотнях бумажных страниц, а когда закрываешь ее, тебя охватывает грусть, что надо возвращаться в действительность, которая по сравнению с тем, где ты сейчас побывал, есть не действительность, а плохая выдумка.

Это был важный этап моего срастания с Толстым, которое продолжилось и дальше. «Войну и мир» я прочитал к настоящему моменту восемь раз, «Анну Каренину» – двенадцать, и я не уверен, что на этом счет закончится. А вот «Воскресение» осилил только раз и никогда не имел потребности к нему вернуться – оттолкнула явная тенденциозность этого романа. Зато многие рассказы и повести – «Два гусара», «Холстомер», «Смерть Ивана Ильича» и мировой шедевр «Хозяин и работник» – перечитывал постоянно. Так что трудно сейчас понять, что во мне от меня самого, а что от Толстого, который не во мне, а вне меня. А писать-то надо о нем, объективном. Что ж, придется сделать усилие и подавить в себе все субъективное, ведя разговор о всем до-

ступном явлении мировой культуры, которое называли «величайшим писателем земли Русской». Конечно же меня хватит лишь на то, чтобы затронуть два или три аспекта этого явления.

Начнем с попытки разгадать секрет этого волшебства, о котором сейчас было сказано, то есть понять суть художественного метода Толстого.

Думается, он был основоположником нового для того времени типа литературы, перехода ее на третью стадию развития. На первой стадии она занималась описанием событий, происходящих с персонажами и вокруг них. Этим литература занималась, начиная с Античности вплоть до конца Средневековья. Описывали события эпосы, саги, руны, сказания, былины и так далее. Святогор едет по дороге и видит суму переметную; Илья Муромец направляется в Киев через Чернигов и встречается с Соловьем-разбойником. Сказитель ничего не сообщает нам о переживаниях Святогора, не сумевшего поднять суму, и Ильи, сумевшего приторочить разбойника к седлу и доставить его князю, да его и самого это не интересует. Переживать предоставляется слушателям былины, которые ставят себя на место ее героев. Но около XVIII века европейская литература начала входить во вторую стадию – проявлять повышенный интерес к внутреннему миру своих персонажей, к тому, какие эмоции они испытывают в тех или иных обстоятельствах. Пример – «Страдания молодого Вертера» Гете, причем пример, ставший весь-

ма заразительным. Здесь автора волнует не столько то, что делается вне Вертера, сколько происходящее в нем самом, ибо это помогает понять особенности его души. Это же занимает и Пушкина: он не описывает конкретные любовные похождения Онегина, как это сделал бы средневековый писатель, а знакомит нас с психологией этих походов («Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать...») и тому подобное). Достоевский в «Бедных людях», вызвавших бурный восторг Белинского, прямо предоставляет Макару Девушкину изливать свои переживания в письмах, которые и становятся тут главным предметом повествования. Психологическая литература не упразднила событийную, а сосуществовала с нею, однако претендовала на более высокий ранг, считая себя «передовой».

И вот появился граф Толстой, «прогремевший, как гром среди ясного неба, своими “Севастопольскими рассказами”». Это было уже нечто совершенно новое – литература вошла в третью стадию своей исторической эволюции.

Метод, к которому прибегнул Толстой с самых первых своих произведений, основан на тонком различении двух вещей: чувств (не важно, индивидуальных или коллективных), определяющих восприятие окружающего, а значит, и поведение, и *мотивации* этого восприятия и этого поведения. До Толстого писатели считали, будто чувства и есть мотивация, а он впервые догадался, что эта подлинная мотивация лежит на более глубоком, подсознательном уровне личности

или социума и порождает нужные ей чувства, которые мы принимаем за первопричину наших поступков. В чем причина такой маскировки? Толстой понял и это. Дело в том, что подлинная мотивация всегда является более низменной, приземленной, грубой, чем те чувства, в которые она себя облекает и которыми мы объясняем и оправдываем свои действия. Слово «всегда» здесь существенно: оно выражает закон, относящийся к природе человека. Его можно назвать *законом облагораживания мотивации*. Открыв этот закон, Толстой, в сущности, создал новую антропологию, правильность которой постоянно подтверждал своими произведениями, помещая изображаемых в них лиц под увеличительное стекло и обнаруживая в них то, о чем не знают они сами.

Толстому не приходило в голову заявить о своем открытии как о научном результате: академическая сфера была для него предметом больше насмешек, чем уважения («Противнее всех самоуверен немец: он верит в науку, которую сам выдумал»). Но иносказательную формулировку закона облагораживания мотивации он все-таки дал в своем знаменитом, много раз повторенном тезисе: «Мы любим людей, которым сделали добро, и не любим людей, которым сделали зло». Тут в принципе этот закон содержится. Действительно, почему у нас возникает любовь к человеку, которого мы чем-то одарили, пусть даже ненамеренно? По той причине, что акт его благодетельствования дает нам повод считать себя более добрыми, чем мы есть на самом деле, то есть благо-

раживает нас в собственных глазах, и за это мы чувствуем к нему благодарность. А не любим человека, которому чем-то навредили, хотя бы случайно, из-за того, что, посчитав его плохим, мы смягчаем неблагородство своего поступка: с плохими и надо так поступать, чего с ними церемониться.

Открытие, касающееся самых глубин людской природы, сделано Толстым методом художественного проникновения в действительность, которое в познавательном смысле может быть не менее эффективным, чем научное исследование. Но академические круги весьма консервативны, и тех, кто не придерживается их цеховых правил публикации результатов, в свою компанию не принимают. Ни один дипломированный психолог не обратил внимания на подсказки великого писателя, которые при должном наукообразном оформлении могли бы произвести переворот в теории. Лишь через пятьдесят лет после опубликования «Севастопольских рассказов» Зигмунд Фрейд ввел в науку примерно то представление о человеке, на котором построено произведение. Но идея Фрейда похожа на идею Толстого, как котенок на льва: она у него редуцирована, опошлена и дополнена ложью. Бессознательное самооблагораживание простирается у Фрейда лишь на одну-единственную сферу – на половое влечение, а сам предмет облагораживания – якобы заложенный в каждом человеке «эдипов комплекс» – попросту выдуман. Открытие же Толстого имеет универсальный характер и замечательно согласуется с антропологией друго-

го русского гения, Владимира Соловьева, считавшего одним из фундаментальных элементов внутреннего человека чувство стыда по отношению к низшему в себе. Понятно, что в рамках этой антропологии самооблагораживание выступает средством избавления от этого стыда, позволяющим человеку чувствовать себя человеком, а не животным.

Метод художественного познания человеческой души Толстой применяет в первом крупном своем произведении так подчеркнуто, как впоследствии этого уже не делал, – видно, очень хотелось поделиться с читателем радостью открытия. Описывая экстремальную ситуацию Крымской войны, он обнаруживает закон облагораживания также в его экстремальном выражении – *в героизации*. Истинная мотивация поведения людей вовсе не их геройство – это основная мысль повествования. «Да! Вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следы суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости – ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что, может быть, вы упрекнете себя в излишней восторженности, усомнитесь немного в справедливости понятия о геройстве защитников Севастополя, которое составилось в вас по рассказам».

Или вот место, с полной беспощадностью показывающее подлинную мотивацию одного из «героев Севастополя»,

штабс-капитана Михайлова. «Какое будет удивление и радость Наташи, – думал он, шагая в своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку, – когда она вдруг прочтет в “Инвалиде” описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получить по старому представлению. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по линии, потому что много перебито, да еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию». Как мы видим, Михайловым движет одно честолюбие, доводящее его до того, что он чуть ли не радуется нашим потерям, расчищающим ему путь к званиям. Где же здесь патриотизм, где мысль о России, о вере православной, где клятва «уж постойм мы головою за Родину свою!»?

Выявление истинной, а не облагороженной мотивации продолжается у Толстого и в следующих произведениях, хотя не столь резкое. Князь Василий презирает подхалимов, но ему почему-то всегда симпатичны влиятельные люди, и он *бескорыстно* заводит с ними дружбу. Романтизм Наташи Ростовской и ее очаровательная непредсказуемость оказываются лишь преломлением ее истинного стремления иметь мужа и детей, и когда эта изначальная потребность удовлетворяется, она становится серой и скучной. Каренин отказывает Анне в разводе, чтобы отомстить ей за измену, но для себя объясняет отказ не этим недостойным порядочного человека чувством, а тем, что так велел ему сделать прозорливец...

Казалось бы, такого рода литература, показывающая, что

наша жизнь управляется более примитивными началами, чем нам хотелось бы думать, не должна была понравиться публике – кому охота докапываться до навоза, на котором растут ласкающие наш взор цветы. Но Толстой не только понравился, а буквально завладел умами и сердцами миллионов. А в конце XIX века во Франции появился писатель если не такого же масштаба, то такого же направления, еще один представитель третьей стадии развития словесности – Мопассан. Начиная с первой своей вещи – «Пышка», он в большинстве своих рассказов разоблачает низменную мотивацию поступков, маскируемую добрыми побуждениями. Мопассан в своем разоблачении еще более жесток, чем Толстой, но, несмотря на это, он тоже имел колоссальный успех. Кстати, Толстой высоко ценил Мопассана и написал о нем отдельно статью. В чем же причина этого успеха?

Отчасти она объясняется тем, что каждый читатель относит критику людской природы не к себе, а к окружающим, а убеждать себя в том, что окружающие плохие, приятно, так как ты сам по контрасту оказываешься хорошим. Но есть и более серьезная причина. Литература этого типа вызывает в нашей душе уникальное чувство прикосновения к неприукрашенной, обнаженной правде жизни, правде до конца, к онтологической основе нашего бытия, а это дороже всякой эстетики. Такая литература представляет человека не ангелом и не демоном, а таким, *какой он есть*, и читатель поневоле соглашается с автором (да, человек таков), и в акте

согласия происходит его приобщение к космическому миропорядку, настолько иногда осязаемое, что он останавливает чтение и несколько секунд сидит в состоянии какого-то странного волнения. И чаще всех и вернее всех писателей доставляет нам это волнение Лев Толстой.

Но вот незадача: помимо приобщения к правде жизни, Толстой иногда вводит нас в область довольно нудных рассуждений, не только не покоряющих своей правдивостью, но и просто неубедительных. Это происходит в тех случаях, когда он от описания гениально чувствуемого им *хода жизни* переходит к попыткам объяснить нам *смысл жизни*. И тут он неизменно терпит провал. А потребность понять смысл человеческого существования была у Толстого так велика, что свои неубедительные раздумья на эту тему он вставлял даже в наиболее совершенные художественные произведения. В «Войне и мире» это «Эпилог», в «Анне Карениной» – философские размышления Левина, в «Крейцеровой сонате» – послесловие. Что же касается «Воскресения», то там этих раздумий так много, что весь роман в целом нельзя назвать совершенным, хотя поразительные по художественной силе места имеются и в нем (например, описание чувств молодого Нехлюдова во время ледохода).

Эта ложка дегтя в бочке меда, каковой является для нас творчество Толстого, – не вина его, а беда. Чтобы простить человека, надо его понять, а чтобы его понять, надо его любить. Кто любит Толстого, для того его дилетантское учи-

тельство есть трагедия великой личности – трагедия мучительная, но оказавшаяся для него совершенно неизбежной. Она явилась закономерным результатом трех особенностей душевного устройства Толстого: повышенной чувствительности к мысли о неотвратимой смерти, доходящей до приступов страха («Арзамасская тоска»); наследственной гордыни аристократа, подхлестнутой всемирной славой, и, как ни странно, гениально верным пониманием эмпирической жизни – достоинством, которое вне сферы своего применения обратилось в недостаток.

Тема смерти у Толстого проходит сквозной нитью через все его творчество. Ей специально посвящены рассказы «Три смерти», «Люцерн» и «Смерть Ивана Ильича». Описание смерти занимает центральное место в «Севастопольских рассказах». В «Войне и мире» князь Андрей умирает дважды, в «Анне Карениной» долго умирает Николай Левин, и это едва ли не лучшие страницы великих романов. И такой гипертрофированный интерес к смерти вызван у Толстого не только его врожденным страхом перед нею, но и переполнявшей его влюбленностью в жизнь, которую он чувствовал всеми изгибами своего «я» и понимал, как никто другой. Он ценил свое понимание жизни, считал, что здесь он первый в мире, и это служило для него основой самоутверждения, в котором он, как гордый человек, очень нуждался. Но ему было ясно, что понять жизнь до конца может только тот, кто разгадает ее тайну – то, что она всегда кончается, то есть

поймет смерть. Вот он и напрягался все время, чтобы ее понять, измучил и себя и своих читателей этим напряжением, но так и не понял. Иначе не могло и быть. Толстой не был способен понять смерть потому, что был очень уж способен понимать жизнь. Весь его познавательный аппарат был идеально настроен на то, что происходит до смерти, потому что для предвидения того, что начинается *после* нее, он оказался совершенно непригодным. Ведь там все устроено по-иному.

«Царство мое не от мира сего», – сказал Бог-Сын, а Толстой всеми фибрами своего сознания принадлежал сему миру, потому гениально его и изображал.

У апостола Павла есть слова, будто специально обращенные к Толстому: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно» (1 Кор. 2, 14). А Толстой судил обо всем душевно, потому что почитал безумием даже тезис о триединстве Бога, служащий не только краеугольным камнем духовной жизни христиан, но и исходным началом всякой верной философии, как отмечал Иван Киреевский. Вдуматься же в слова апостола ему не позволяла все та же гордыня. Он хотел докопаться до тайны смерти сам, пренебрегая мудростью богодухновенных святых отцов, а такая самодеятельность в этой области ничего дать не может.

Но тем, кто упрекнет Толстого в мистической и метафизической безграмотности, я скажу: «Стоп! Заградите ваши

уста, столь быстрые на суждение. Не все с этим писателем так просто. Прочитайте «Хозяин и работник».

По критерию художественности, отнесенному к текстам такого объема, эта вещь является непревзойденной во всей мировой литературе, и с ней можно сравнить лишь те три десятка страниц эпопеи Марселя Пруста, где он описывает смерть своей бабушки. Но сейчас о другом. Этот рассказ – не просто литературное совершенство, но прорыв Льва Толстого в ту область, где многие религиозные люди считают его бездарным. Прорыв, да еще какой!

Вдумываясь в специфику Толстого как писателя, мы согласились, что он открыл в своей литературе «закон облагораживания мотивации». И вот эта стройная искусствоведческая концепция разбивается о рассказ «Хозяин и работник». В нем Хозяин не облагораживает себя, а принижает. Он постоянно думает о деньгах и сознательно делает своей жизненной мотивацией корысть. Но в последний день своей земной жизни он обнаруживает в себе еще более сильную глубинную мотивацию, заставившую его совершить бескорыстное самопожертвование, отогревая Работника ценой собственного замерзания. Кем же он был на самом деле – стяжателем или добрым самарянином? Толстой не дает ответа на этот вопрос. Сказать вам почему? По той причине, что сам его не знает. А ведь вроде он знал о жизни все. Значит, все-таки не все. И не зная ничего о том, куда мы уходим из жизни, все-таки кое-что об этом знал.

Хотелось бы многое еще сказать о Толстом, однако если касаться всего, чем он волнует ум и сердце, конца разговору не будет. Но проститься с ним хочется с улыбкой. Давайте же напоследок улыбнемся.

Лев Толстой в Поляне Ясной
Босиком ходил обычно.
Это было и опасно,
И, конечно, неприлично.
Но, напарывая ногу
То на то, а то на это,
Он умел найти дорогу
В поле в середине лета.
Не прося себе поблажки,
Этот человек великий
Описал нам запах каши
И цветенья повилики.
Скажет, если кто не знает:
Вот так глупость, вот мура-то!
Но ведь это открывает
Повесть про Хаджи-Мурата.
Почитай-ка эту повесть,
И узнаешь до конца ты,
Что мучительная совесть
Открывала
век
двадцатый.

А у нас был Высоцкий

Известно, что глубинный смысл всякого явления становится понятным лишь тогда, когда оно отойдет достаточно далеко в прошлое.

Оценка по свежим следам всегда искажена еще неостывшими эмоциями. По отношению к такому явлению, как Владимир Высоцкий, это особенно верно. Вспоминаешь, что совсем недавно он был молод и полон замыслов, а теперь лежит на Ваганьковском кладбище – и сердце пронзает жалость, и как-то не можешь до конца поверить в случившееся. Эти чувства так сильны, что, думая о Высоцком, в первую очередь думаешь о потере.

И все же пришло время начать осмысливать его как приобретение. Его творчество уже закончено, к нему ничего больше не прибавится. Оно стало историческим фактом, а такие факты интересны главным образом с точки зрения их исторической ценности. Поскольку Высоцкий – поэт, то по традиции следовало бы начать с анализа особенностей его поэтического дара. Эта традиция очень прочна, и сложилась она в рамках представления, будто характер и значение творческого наследия всякого художника зависят от специфики его одаренности. Но я думаю, что для художника такого масштаба, как Высоцкий, не талант определяет миссию, а наоборот, миссия определяет особенности таланта. Я

не могу поверить, что Высоцкий появился случайно, в силу каких-то генетических мутаций. Он, несомненно, выполнял нечто провиденциальное. У него, как и у других поэтов такого уровня, историческое предопределение было первичным, а одаренность производной: она далась ему в той мере и в таком качестве, которые соответствовали предопределению и позволили выполнить его наилучшим образом. В ответ на возможные упреки в «ненаучности» такого взгляда на историю культуры я мог бы привести в его защиту ряд подробно изложенных аргументов, но считаю это излишним. Поэтому я предлагаю читателю принять мою точку зрения хотя бы временно и убедиться, что она многое делает понятным.

Итак, мы будем исходить из того, что Высоцкий был нужен нашему народу, что он выполнял нечто для него важное и актуальное.

Что же это было? Высоцкий был и певцом и актером, но главное его наследие относится к области словесности. Конечно, тексты его песен трудно отделить от мелодии и исполнения, но все-таки для слушателей важнее всего именно его слово, а не музыка, как скажем, у Луи Армстронга. А слово лишь тогда может иметь мессианское значение, когда оно в какой-то степени есть Богосозидающее слово.

Слово Высоцкого обрело всенародное значение как раз потому, что оно было созидающим. Что же созидает Слово? В самой краткой форме на этот вопрос можно ответить так: оно создает вещи. Из «Калевалы» мы знаем, что поэт Вяй-

нямейнен мог «напеть» елку или какой-то другой предмет. Убеждение, что слово обладает творческой силой, пронизывает мифологию не только финского, но и всех других народов. В христианской философии мировым созидающим началом также выступает Слово. Христос, создавший новозаветную реальность, согласно Евангелию, есть Слово.

Не следует думать, будто слово могло создать вещественную реальность лишь в какое-то мифологическое время, а сейчас эту способность потеряло. Оно до сих пор обладает ею. Когда вы ходите по лесу со знающим человеком и он произносит названия трав, эти травы благодаря звучанию слова возникают для вас из небытия. Ни таволга, ни донник как бы не существуют, пока вы не узнали их имена. Конечно, в физическом смысле они существовали давно – с того момента, когда их «назвал» Творец, – но в вашей вселенной они получили место только вместе со словами «таволга» и «донник». Аналогичным образом растение или животное не является реальностью в научном смысле, пока специалист не присвоит двойное латинское название, обозначив какими-то словами вид и семейство. До этого его как бы нет. В общем, «существование» – понятие весьма нетривиальное. Только примитивное материалистическое мировоззрение абсолютизирует предикат «существует», полагая, будто по отношению к любому объекту он либо верен, либо нет.

«Кентавр не существует, – говорит материалист, – а лошадь существует». И во всех других случаях мы тоже можем

утверждать либо то, либо это.

На самом же деле в том примере, который он приводит в качестве классического, никакой ясности нет. Ведь когда говорят: «лошадь существует», имеют в виду не данную конкретную лошадь, а лошадь вид – лошадь вообще. Но что означает утверждение «лошадь вообще» существует? Пытаясь понять это, мы сразу же приходим к знаменитой проблеме существования универсалий, которая обсуждалась европейскими учеными нескольких столетий, пока грубый прагматический дух нарождающегося естествознания не подорвал интерес к таким тонким исследованиям. Однако в наши дни огромная сложность понятия «существует» вновь заявила о себе, причем как раз в той области, где все казалось в этом отношении ясным – в физике.

Сейчас у ученых нет единого мнения по поводу того, в каком смысле существует волновая функция атомного объекта, существуют ли виртуальные, т. е. принципиально ненаблюдаемые частицы, существуют ли кварки, составляющие фундаментальную основу всего вещества, и т. д.

Можно было бы подробнее изложить драматическую историю перемены отношения нашей науки к понятию, всегда казавшемуся ей элементарным, но мы-то ведем речь не об этом – о Высоцком. И нам достаточно лишь обратить внимание на то, что «существование» имеет много различных уровней и что объект не просто существует или не существует, а может существовать в меньшей степени или в большей,

в том или ином качестве.

Само по себе физическое существование является еще довольно низкой формой бытия. Это такое бытие, в котором объект подвержен лишь воздействию стихийных сил законов природы. Но если люди дают ему наименование, он поднимается на более высокий экзистенциальный уровень, так как вовлекается в орбиту сознательной деятельности человека и начинает испытывать на себе влияние его хозяйственных или научных устремлений, подчиненных более сложным законам, чем природные. А высший ранг существования достигается всякой данностью лишь тогда, когда она получает статус реальности в мистическом соборном сознании народа. При этом она сама становится мистическим объектом и тем самым вступает в круговорот наиболее важных и таинственных мировых процессов. Для этого она должна не просто получить название, но и быть зафиксированной в доступном народу поэтическом образе.

Бородинская битва реальнее любого другого российского сражения не потому, что она имела наибольшее военное значение, а потому, что получила художественное воплощение в «Войне и мире». Высший ранг существования ей придал не Кутузов, а Лев Толстой.

Сущность феномена Высоцкого можно осознать в историческом контексте и только с учетом того, что сейчас было сказано.

К началу 1960-х годов наше общественное сознание бы-

ло до предела обеднено. Та его часть, которую можно назвать коллективным мироощущением, стала поистине нищей. Наш мудрый вождь товарищ Сталин предписал народу, за плечами которого было целое тысячелетие напряженного духовного развития, воспринимать все окружающее в свете 5-й главы «Краткого курса истории партии».

Конечно, свести национальное российское осознание к этой примитивной схеме было нелегко, но физическое уничтожение лучших представителей народа и систематическое запугивание остальных в течение многих лет помогли осуществить такую редукцию. И вот на нас опустилась мгла коллективного одичания, которое таило в себе громадную опасность как для каждого из нас, так и для внешних народов. Нормальное положение состоит в том, чтобы общество было умнее самого умного индивидуума – в этом случае оно совершенствует каждого человека, тянет его вверх. У нас же оно стало глупее самого глупого индивидуума, что создало угрозу деградации личностей. Угроза же внешнему миру заключалась в потере нашим обществом всякого ощущения реальности и даже простого инстинкта самосохранения. Его поведение стало безумным, оно бросалось от одного нелепого лозунга к другому, ничего не запоминая и ни из чего не делая выводов. В его убогом сознании не умещалось уже ни прошлое, ни будущее, оно забыло собственную историю и не было способно заглянуть в завтрашний день. Если бы оно не выздоровело, это привело бы к какому-то страшному кол-

лапсу и, может быть, к остановке всей мировой истории. Но такой исход пока, видимо, Провидением не предусмотрен – или отложен. И все-таки похоже, что России был уготован путь исцеления.

Первым признаком того, что критический момент уже позади и дело повернуло к улучшению, было развенчание Хрущевым умершего Сталина. Материалистически мыслящие современные историки пытаются дать этому странному поступку главы государства рациональное объяснение – например, усмотреть тут какие-то личные выгоды. Но где уж говорить о выгодах, когда разоблачение культа с самого начала вызвало глубокое недовольство сильных партийных кругов и в конечном счете привело Хрущева к падению. Не проще ли предположить, что Никита Сергеевич всего лишь выполнял не осознанную им самим историческую миссию? Выполнил, а потом стал не нужен и был отодвинут историей в тень. Но как бы там ни было, устроенная им «оттепель» дала возможность народу немного прийти в себя. Замороженные до этого лютой сталинской идеологией, соки нашего национального организма начали оттаивать и двигаться. И в этот момент вспыхнули пресловутые «хрущевские надежды», которые опьяняли нас радостью. На миг нам показалось: все, выздоровели! Многие до сих пор гадают, почему тогдашние упования не сбылись. Одни говорят, что Хрущев был половинчатым политиком и не довел дело десталинизации до конца. Другие сваливают все на поднявшую голову

«реакцию». Но истина – ни в том, ни в другом. Просто само наше общество не было готово к переходу в новое состояние. У него не хватило бы внутренних сил, чтобы сразу начать ту жизнь, которую ведет здоровое общество. После затяжного недуга нельзя тут же выбегать на свежий воздух и позволять себе обычную норму движений: от этого закружится голова и станет еще хуже, чем прежде.

Сейчас мало кто понимает эту в общем-то весьма простую вещь, и в этом виноват все тот же материализм, который проникает в души даже тех, кто его ругает. Хотя мы стали чаще говорить о Боге и цитировать Священное Писание, на государство мы по-прежнему смотрим как на «общественный договор», апеллируя к старику Руссо. Отсюда идут наши преувеличенные представления о роли правительства. Раз общество зиждется на «сетке отношений», рассуждаем мы, значит, разумное изменение этой сетки может сделать и всю нашу жизнь разумной, а такое изменение – в руках властей.

И нам невдомек, что не только структура законодательства, но и сама трактовка понятия «Законность» зависит от того незримого фактора, который можно назвать состоянием народного духа. Государство – отнюдь не есть договор между преследующими свои личные выгоды индивидуумами – оно есть целостная данность, обладающая собственным неделимым «сверхсознанием», развитие которого и определяет историческую судьбу государства. А развивается это сверхсо-

знание не по рецептам политиков. Наоборот, чуткий политик сам всегда подлаживается к его спонтанной эволюции. Скажем, прежде чем власти начнут разрабатывать закон об охране окружающей природы, нужно, чтобы в широких народных массах таинственным образом изменилось отношение к деревьям, птицам и зверью, чтобы рука заядлого охотника неизвестно почему перестала подниматься на дичь.

Одной из главных характеристик мистического национального сознания является широта его мироощущения. К моменту хрущевской десталинизации оно было у нас очень узким, поэтому никаких реальных шансов на осуществление вспыхнувших надежд в то время, увы, не было. Той богатой и разнообразной сетке общественных связей, о которой многие тогда возмечтали, неоткуда было взяться, так как она всегда возникает как результат материализации богатства и разнообразия народного духа, а дух наш пребывал тогда еще в страшном убожестве. Мы недооценивали серьезности болезни и легкомысленно считали, что из нее можно выскочить одним махом с помощью административных мер и реформ. Позволяя в течение десятилетий разрушать религию и выработанные веками тончайшие регулировочные механизмы многослойного русского общества, мы решили, что все это нам мгновенно простится и как странный сон уйдет в прошлое, если мы только доведем до конца разгром сталинистов. Мы не учли, что у нас за душой осталось не намного больше, чем у сталинистов, что мы отвыкли от реальных и

значимых ценностей. Нет, нам предстоял долгий путь.

И прежде всего нашему народному сознанию необходимо было раздвинуть свои рамки до естественных пределов, ассимилировать массу теснящихся вокруг нас вещей и событий, поднять их до уровня высшей, мистической реальности. Для этого надо было опоэтизировать их, ввести в рамки народного художественного восприятия. Именно в этом, а не в трескучих внешних преобразованиях должен был состоять следующий после отмены культа Сталина этап нашего национального исцеления. Для этого этапа требовался народный поэт совершенно особого типа. Им стал Владимир Высоцкий.

Он явился не на голом месте. В некотором смысле его предшественником был замечательный поэт Булат Окуджава. Одаренный тонкой музыкальностью и приятным голосом, он записывал на магнитную пленку песни собственного сочинения, и они расходились по всей стране, достигая самых дальних ее уголков. В это время и была отработана вся технология «магнитиздата», которая уже на новом уровне тиражности стала работать потом на Высоцкого. Но рассматривать Окуджаву как человека, который подготовил лишь технические условия для распространения песен Высоцкого, было бы несправедливо. Он был предтечей Высоцкого и в чисто творческом отношении. Именно он первым запел о простых вещах, силой своего искусства придавая им такую форму, которая позволила им войти в ткань социального бы-

тия. Он делал это далеко не в том масштабе, как после него Высоцкий, – он как бы примерялся к этой деятельности. Наверное, трудно было сразу привыкнуть к мысли, что смелому пошлетя удача. Ведь господствовало убеждение, что в песне поэтическим должен быть в первую очередь сюжет. И Окуджава большей частью старался петь о таких романтических вещах, как синий ночной троллейбус, таинственный воздушный шарик, загадочный «стол семи морей».

Но вот, как предвосхищение чего-то грядущего, звучит у него баллада о парнишке из простого московского двора – Леньке Королеве. И ее успех был не меньшим, а даже, наверное, большим, чем успех его «салонных» песен, развивавших традицию Вертинского. Я считаю, что несколькими лучшими своими песнями Окуджава открыл дорогу Высоцкому. Тем не менее Высоцкий пошел по ней не сразу. Соблазн сюжета был слишком велик и для него, и вначале он перед ним не устоял. Но при этом проявилось его неподражаемое умение достигать цели кратчайшим способом. Что может быть по сюжету сказочнее сказок? Ничего. Вот он и начал петь сказки. Это не был период творческой учебы, какой проходят почти все поэты. Высоцкий в этом отношении уникален. Первые его песни столь же совершенны, как и последние. «Сказки» были переходным мостиком не на пути к овладению мастерством, а на пути к выполнению миссии. В них Высоцкий выдержал свое первое испытание: сумел сделать потустороннюю реальность органической частью здеш-

ней реальности. Он с блеском совершил то, о чем мечтали еще энтузиасты времен «Осоавиахима»: сказку сделать былью. Начинаящий маг продемонстрировал свою мистическую силу. Хотя писать о Высоцком вообще-то очень трудно – прежде всего из-за ответственности темы, – сейчас перед нами возникает специфическая трудность: не завязнуть в разборе «сказок». Им вполне можно было бы посвятить весь остальной текст статьи. С другой стороны, и этого было бы мало – они достойны целой книги. Как-то я сказал Высоцкому: «На вас защитят когда-нибудь не одну диссертацию». Он засмеялся и, не то соглашаясь, не то переспрашивая, повторил: «Защитят когда-нибудь!» Какие уж тут вопросы – будут и диссертации и монографии.

И все же на сказках нам придется задержаться. Надо понять: с помощью каких средств Высоцкий сделал сказочных персонажей по повседневному реальными? Тут можно указать на два приема, к которым он обратился. Первый, более формальный, состоял в том, что он систематически перемешивал тамошнюю и здешнюю реальности, так что они как бы уравнивались, получали одинаковый статус. Примеров тому можно привести множество: «На горе стояло здание ужасное, издалека напоминавшее ООН», «Чтобы творить им совместное зло потом, поделиться приехали опытом». (О Змее Горыныче и Соловье-разбойнике), «И ругался день-деньской бывший дядька их морской, хоть имел участок свой под Москвой». Второй прием не так бросается в

глаза, но по существу он важнее, а главное – он был блестяще использован потом, уже в «серьезный» период творчества. Высоцкий погружает сказочный сюжет в характерную эмоциональную атмосферу нашего времени. Мифические герои не только совершают у него те же поступки и произносят те же фразы, как и наши живые современники (например, колдун кричит русалке: «Все пойму и с дитем тебя возьму!»), но он к ним по-современному и относится. Высоцкий выделяет в очень точном виде абстрактную структуру наших психологических реакций и в ее узловые точки помещает нечто выдуманное. В принципе такой ход мог бы привести к двум последствиям: либо выдуманность узлов разрушит правдоподобие эмоций, либо правдивость эмоционального фона оживит призраки. У Высоцкого получается второе. Скажем, «лесная голытьба» становится у него вполне естественной и органичной благодаря тому, что она «по-своему несчастная». В этих словах выражена очень типичная форма сегодняшнего восприятия, а потому и объект этого восприятия обретает подлинность. Долго ли, коротко ли тешился молодой бард волшебным даром, заново укореняя в народном сознании давно вырванную из него лесную нечисть, но только к нему однажды явилась его строгая муза и сказала: «Это еще не служба, а службишка, – служба же твоя впереди. Хватит попусту силу богатырскую растрачивать, соверши-ка ты настоящий подвиг!»

До сих пор он делал нереальное реальным. Теперь ему

предстояло нечто похитрее: делать реальным то, что и так реально, переводить вещи и события из низшей формы существования в высшую. Это труднее, чем переводить их туда из небытия. Когда вещь хоть как-то существует – скажем, на уровне названия, – то в ней имеется некое устоявшееся «теплохладное» отношение, и сделать его более эмоциональным очень непросто. Ведь человек не понимает, что, хотя эта вещь есть, ее как бы и нету, поскольку ей отведено место лишь в нашей голове, но не в нашем сердце. Чтобы заинтриговать человека тем, что ему уже известно, надо сконструировать новую и весьма заразительную систему отношений. На «сказках» выяснилось, что Высоцкий очень умелый конструктор такого рода. Разумеется, нельзя думать, будто до какого-то момента он писал только сказки, а потом стал признавать только сюжеты из повседневной жизни. Одно не сразу у него ушло, другое не сразу к нему пришло. Новая установка вытеснила старую исподволь и постепенно. И естественно, что среди его песен должны были появиться «гибридные», представляющие собой связующие звенья между двумя разными формами творчества. Одной из самых замечательных переходных песен является песня о джинне, выпущенном из бутылки. В ней даны два параллельных плана – сказочный и бытовой. Махровый советский мещанин сталкивается с персонажем арабских сказок. Но герои не равновелики по своему значению в песне. Главной ее фигурой служит обыватель, филистер. Он изображен живо и объемно, в

то время как его партнер весьма схематичен. Высоцкий использует древнего джинна лишь для того, чтобы с его помощью выявить отталкивающие черты современного обывателя. Одна из этих черт раскрывается в самом начале песни: «У вина достоинства, говорят, целебные. Я решил попробовать: бутылку взял, открыл». От этой фразы так и разит лицемерием. Он, видите ли, пьет не ради удовольствия, а из одной лишь научной любознательности. Но в полной мере мерзость главного героя выступает наружу дальше, именно при взаимодействии с джинном. Сначала он на всякий случай проявляет лояльность: «Прямо, значит, отвечай: кто тебя послал? И кто загнал тебя сюда, в винную посудину, от кого скрывался ты и чего скрывал?» Но, сообразив, что джинн может его обогатить, он забывает политграмоту и требует сокровищ. Когда же в ответ слышит: «Мы таким делам вообще не обучены», – в нем снова оживает гражданская бдительность и он звонит в милицию. Завершается песня второй сценой лицемерия, придающей ей симметрию: «Может, он теперь боксом занимается: если будет выступать – я пойду посмотреть». Ясно, что сказочный персонаж имеет здесь уже вспомогательное, второстепенное значение и введен как бы по привычке, по старой памяти. Чувствуется, что он висит на волоске и вот-вот перестанет появляться. Так и случилось. Прошло немного времени, и Высоцкий сочинил песню, которая начинается так:

Мой сосед объездил весь Союз.
Что-то ищет, а чего – не видно.
Я в дела чужие не суюсь,
Но мне очень больно и обидно.
У него на окнах плюш и шелк,
Клавка его шастает в халате.
Я б в Москве с киркой уран нашел,
При такой повышенной зарплате.

Разве это не тот же самый тип, который позарился на сокровища джинна?

Посмотрите, вот такой же лицемерный шантаж:

А вчера на кухне ихний сын
Головой упал у нашей двери
И разбил нарочно мой графин.
Я папаше счет в тройном размере.
Ему платят рупь, а мне пятак,
Пусть теперь мне платят неустойку.
Я ведь не из зависти, я так,
Ради справедливости, и только.

Образ советского мещанина тот же самый, но уже в рамках чисто бытового повествования, без всякой бесовщины.

Высоцкий преодолел искушение делать ставку на внешнюю мистику и стал раскрывать нам внутреннюю мистическую сущность простых и вроде бы знакомых нам вещей, заставляя воспринять их на новом уровне сознания. Он в зна-

чительной мере открыл для нас вселенную, в которой мы все живем. Я далек от мысли, будто в период своей поэтической зрелости Высоцкий стал бытописателем. Ничего подобного! Того, кто провел бы нас лишь по закоулкам коммунальной кухни, нельзя было бы назвать открывателем вселенной. Высоцкий как раз выделяется необычайно широким диапазоном интересов. Его волнует все – от пророчицы Кассандры и князя Олега до прыгуна в высоту и попавшего в вытрезвитель забулдыги. Он любопытен, как ребенок. У него удивительная ко всему ненасытность. Создается впечатление, что он хватал для своих песен все, что случайно попадалось под руку. Такая всеядность, возможно, была бы не очень ценным качеством для поэта, если бы не одна деталь: все, до чего Высоцкий дотрагивался, он превращал в золото и увеличивал этим золотой фонд нашего мироощущения. Его нельзя назвать не только бытописателем, но и вообще поэтом какой-либо определенной темы. У него нет «своей темы», «темы Высоцкого». Это очень важная его отличительная черта, но ее не так-то легко заметить. Всякий может найти у него то, к чему имеет особенное пристрастие, и счесть певцом именно этого. И геолог, и спортсмен, и научный работник, и стюардесса единодушно воскликнут: да что вы, это же наш автор! – имея в виду каждый свое.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.